



*Жителям берегов Лох-Ю\*,  
Презжим и нынешним*

*И в час, когда я одинок,  
Море зло и ночь черна,  
Тропа любви меня ведёт  
К тебе во все времена.*

Из «Песни острова Эрискай»,  
народной шотландской песни.

---

\* Залив на северо-западном побережье Шотландии



## Лекси, 1980

Это один из тех дней на пороге лета, когда небо и море залиты солнечным светом. Такие дни здесь, в Шотландском высокогорье, достаточно редки — их определенно стоит сохранить в памяти, как обереги от долгой зимней тьмы. Я застегиваю пальто на Дейзи, натягиваю на её локоны шерстяной берет. Хотя на солнце тепло, ветер на холмах над полем по-прежнему может кусать за нос и морозить уши, отчего они становятся вишнёво-розовыми. Я пристёгиваю Дейзи к переноске и сажаю себе на плечи. Она хихикает, наслаждаясь высотой, запускает пальцы в мои волосы, и мы движемся по тропинке.

Я с трудом шагаю, оставляя залив Лох-Ю всё дальше и дальше за спиной, мне всё тяжелее дышать по мере того, как тропа становится круче, извиваясь между соснами вдоль ручья, бурлящего и дружелюбно лепечущего. Наконец мы выныриваем из темноты, разлитой под деревьями, выходим на свет возвышенностей. Мышцы голени горят. На минуту я останавливаюсь, упираю ладони в бедра, глотаю воздух, прозрачный и холодный, как вода в ручье. Оглядываюсь назад, желая увидеть путь, ко-

торый мы прошли. Белоснежные домики, тут и там рассыпанные вдоль берега озера, всё ещё видны, но спустя несколько шагов они исчезнут, и поросшие вереском руки холмов примут нас в свои объятия.

У края тропинки, полуспрятанные среди рябин и берёз, первоцветы обращают свои лица к солнечному свету, а робкие фиалки пытаются скрыться. Тропа немного выравнивается, и мы с Дейзи поем на ходу, наши голоса звенят в чистом воздухе.

*Мы пойдём с тобою вместе  
Собирать тимьян в нагорьях,  
А вокруг цветущий вереск...  
Ты пойдёшь, душа моя?*

Когда наши песни заканчиваются, из жёлтого куста дрока вдруг, как крошечная ракета, вылетает жаворонок и взмывает в синеву над нами. В тишине его песня словно повисает в небе, каждая нота звучит отчётливо — переливающееся ожерелье звука. Я стою неподвижно, мы с Дейзи, затаив дыхание, прислушиваемся, пока птица не становится крошечной точкой высоко над холмами и её песню не уносит ветер.

Тропа, которая становится все уже и зеленее, больше привычна для копыт овец и оленей, чем для подошв ботинок. Наконец мы сворачиваем в сторону, и вот оно, озеро, спрятанное в провале на склоне холма. Дейзи машет ручонками и смеётся от радости. Сегодня воды почти не видно. Почерневшие от торфа глубины скрыты под волшебным ковром белых кувшинок, лепестки которых раскрылись навстречу солнечному теплу.

Сняв переноску, я растираю плечи, которые даже болят от ее сильно натянутых ремней, прислоняю её к усеянной лишайниками каменной стене старой хижины, расстёгиваю, вынимаю Дейзи. Она тут же вскакивает на свои крепкие ножки, её красные сапоги тонут в мшистой земле, и я хватаю её, притягиваю к себе, зарываюсь лицом в тепло её шеи.

— Ну уж нет, торопыжка! Вода может быть опасна, помнишь? Держи меня за руку, и пойдём вместе смотреть.

Мы слоняемся у кромки воды, высматриваем среди камышей и широких, как лопасти, листьев болотного ириса следы выдры на мокрой земле — борозду от тяжёлого хвоста, петляющую в грязи между царапинами острых когтей.

Закончив исследовать берег, мы уютно устраиваемся на небольшом поросшем мхом холме, расстелив моё пальто — вдали от ветра, в укрытии каменной стены. Крыша древнего здания — когда-то оно, наверное, было чьим-то домом или летним убежищем пастуха — теперь совершенно обрушилась, и остались лишь развалины и почерневший очаг под дымоходом. Пока Дейзи мастерит из сорванной мною кувшинки чашку с блюдцем и деловито напевает себе под нос, наливая мне воображаемый чай, я смотрю со склона холма за озерцо, туда, где широко раскинулось море. Свет, скользя по поверхности, как брошенный по воде камень, дробит её, слепит глаза, больше привыкшие к серости зимнего неба.

Должно быть, это тоже игра света, но на какое-то мгновение мне кажется, будто я вижу огромные корабли, стоящие на якоре. Может быть, это призраки, тени тех

времен, когда залив был пунктом отправки конвоев. Я моргаю, и они исчезают, остаётся лишь вода и островок, а за ним — открытое море.

Солнце скрывается за проплывающим мимо облаком. Освещение явно меняется, и внезапно я обращаю внимание на глубокие тёмные воды озера, скрытые за лилиями. На вершине холма над нами стоит красная лань и смотрит на нас, но убегает, когда я поднимаю голову и пытаюсь поймать её взгляд. Облака уплывают, солнечный свет возвращается. Со склонов над нашими головами вновь доносится песня жаворонка. И мне хочется, чтобы у этой песни были слова, чтобы она могла рассказать мне всё, что знает.

Это место — спрятанное над морем, в объятиях холмов — место тайн. Место, где начинается жизнь и где жизнь заканчивается. Место, свидетели событий которого — только жаворонки да олени.

## Лекси, 1977

Я мчусь по улице, проталкиваясь сквозь толпу, и часы на площади Пикадилли сообщают мне то, что я знаю и так: я опоздала. А ведь это прослушивание — мой большой шанс, возможность получить главную женскую роль в постановке театра Вест-Энда. В спешке я цепляюсь носком ботинка за выступающий камень брусчатки, ахаю от внезапной боли, налетаю на прохожего.

«Простите», — бормочу я, но он даже не поднимает головы, чтобы взглянуть на меня и принять мои извинения, и мы оба спешим дальше, охваченные суетой нашей безумной жизни.

Я уже привыкла ко всему этому, к безличию большого города, хотя поначалу, много лет назад, переезд в Лондон дался мне очень тяжело. Я до боли скучала по домику зрителя. И ещё больше скучала по маме. Она была моей подругой, моим доверенным лицом, самым близким человеком, всегда готовым поддержать, и я часто представляла, как она сидит в одиночестве в домике зрителя, нашем маленьком выбеленном домике на берегу залива. Большой же город был полон людей и огней, и шума движения. Даже чай был на вкус не таким, как



дома, в Шотландии, потому что чайник, который я откопала на кухне, был покрыт неприятным известковым налётом цвета мокроты.

Но в то же время я чувствовала облегчение из-за того, что покинула поместье Ардуат. Мне было приятно раствориться в толпе после долгих лет проживания в крошечном городке, где все считали своим делом сунуть нос в чужие и никто никогда не лез в карман за особо важным мнением по любому вопросу. Новая жизнь дала мне свободу, какую я никак не могла обрести дома, и я была полна решимости двигаться в светлое будущее, лишь порой оглядываясь через плечо.

Вскоре я нашла друзей в театральной школе, где училась бесплатно, и начала привыкать. Долгие часы изнурительных занятий — танцы, пение, актёрское мастерство — и волнующая новизна городской жизни быстро вытеснили реалии моего прежнего существования, заменив их новыми, на первый взгляд гораздо более блестящими.

Конечно, не такими уж они были и блестящими, эти новые реалии. Яркие костюмы и макияж под ослепительным светом прожекторов утратили своё волшебство и показали свою липкость. Мы переодевались в тесных гримёрках, бились за место перед зеркалом среди груда одежды, карандашей для глаз и заколок, и всё было покрыто щедрым слоем пудры, необходимой, чтобы закрепить макияж и убрать блеск. Воздух был тяжёлым от запаха пота, духов и мокрой пыли лондонских улиц, принесённой на куртках, и мы постоянно цеплялись друг к другу, потому что нервничали перед выступлением. Но

всё это быстро забывалось в потоке адреналина после звонка за пять минут до выхода на сцену.

Понемногу я привыкла и к долгим прогулкам по улицам, где воздух наполнен несвежим дыханием семи миллионов человек, а небо над головой рассечено на грязно-серые четырёхугольники, мелькающие то тут, то там между зданиями, и бесконечно далеко от неба Лох-Ю, которое непрерывно тянется до горизонта, изгибаясь над холмами. Привыкла я и к лондонской погоде. Точнее, её отсутствию. Сезоны большого города отличаются друг от друга больше витринами магазинов, чем какими-то серьёзными климатическими изменениями: даже среди зимы город, кажется, генерирует собственное тепло, которое поднимается от сырых тротуаров и исходит от кирпичных стен. Первое время я скучала по ощущению дикости, не столь уж и редкой в шотландской погоде с её безудержной силой атлантического шторма, с её захватывающим дух холодом зимнего утра и неуловимым теплом весеннего дня. Но я быстро запрятала свитера ручной работы в ящик комода в спальне и сменила на облегчающие хлопковые топы и лёгкие рубашки из сетчатой ткани, какие носили все остальные студенты. Такой вид явно больше подходил для прослушивания, имел больше вероятности привлечь внимание режиссёра или продюсера. И ещё я научилась пить кофе вместо чая, пусть даже одна чашка здесь стоила больше, чем целая банка растворимого напитка, который мама покупала в магазинах Ардгута.

Я ныряю в переулок, который спускается к театру, и плечом толкаю дверь, ведущую к сцене. Мой желудок крутит от волнения, я сглатываю желчь, которая

поднимается к горлу, и это никак не улучшит мой голос. Последние несколько месяцев выдались напряжёнными, я закончила работу с «Каруселью», и вновь начался изнурительный процесс прослушиваний. Я не очень-то хорошо питаюсь и сплю. Стараюсь убеждать себя, что моя тревожность понятна, учитывая ситуацию с работой и волнения о том, как мне дальше платить за жильё, если мой счёт в банке истощается. Но за этим скрывается ещё одно чудовищное осознание, которое медленно, но неотвратимо растёт на протяжении уже нескольких недель: Пирс теряет ко мне интерес. Может быть, ведь может же быть, если я получу эту роль, он вновь меня полюбит. Может быть, нам удастся вернуть страсть и интерес первых дней, и всё снова будет в порядке.

Я подхожу к остальным, которые уже собрались за кулисами, снимаю пальто, провожу пальцами по волосам, чтобы в который раз за сегодня привести непослушные огненные кудри хотя бы в относительный порядок. Прошу прощения у помощницы продюсера, ставящую галочку в блокноте напротив моего имени. Она удостоивает меня улыбкой, слишком быстрой, чтобы быть искренней, и отворачивается. Кого-то из присутствующих я узнаю: мир музыкального театра невелик. Но мы избегаем встречаться глазами друг с другом, сосредоточившись на том, чтобы держать свои нервы под контролем и слушать первую номинантку на главную роль. Конкуренция за роль будет высокой — пресса уже гудит новостями о возрождении Бродвея, а лондонское шоу высоко котируется.

Я пытаюсь сделать глубокий вдох и сосредоточиться на роли Марии Магдалины, но мои мысли кружат вокруг другого прослушивания, которое проходило два года назад в другом театре. Это был кордебалет, постановка блистательного Пирса Уокера, чья звезда восходила на театральной сцене Вест-Энда.

На прослушивании он выделил меня из всех и в конце утомительного дня пригласил сходить с ним выпить. Он сказал, что хотел бы моего участия в шоу, хотя я всегда была скорее певицей, умеющей танцевать, чем танцовщицей, умеющей петь. Он сказал, что от меня исходит сияние, что я напоминаю ему Одри Хепберн, только рыжую. Позже в тот вечер он сказал, что никогда не встречал кого-либо похожего на меня. Что у меня редкий талант. Что он поможет мне добиться успеха. А ночью, когда мы лежали среди спутанных простыней на кровати в моей грязной берлоге, он сказал мне, что я стану его музой и что вместе мы проложим путь к самым вершинам славы.

Я глотала его слова с такой же жадностью, с какой выпила бокал вина в пабе на Друри-Лейн. Какой же я была наивной: и то, и другое ударило мне в голову.

Сейчас, два года спустя, увлечение утихло, и дала о себе знать реальность. В последнее время Пирс приходил домой из театра всё позже и реже и не единожды упоминал имя новой старлетки, которая, как он мне заявил, по-настоящему *понимает* его видение и кажется ему совершенной *мечтой* режиссёра. Я начала понимать, что признание зрителей для него значит гораздо больше, чем для меня. Вся жизнь для него — это постановка. А отношения, как и его проекты, теряя блеск новизны,